Проза БЭНД Ирина Банах

## **Ирина Банах**

Живет в Гродно (Беларусь). Писатель, литературовед, кандидат филологических наук. Выпускница литературных школ CWS и Band, мастерских Ольги Славниковой, Анны Никольской и Екатерины Оаро. Публиковалась в электронном журнале «Пашня», в издательстве «Нигма» («Охота на Носкотыра», 2024).

**КОЛЕЧКО**

Беззаботный август вкатился в осень смело и размашисто, как зазевавшийся велогонщик на финишную черту. Школьники возвращались из деревень и пионерских лагерей загоревшие, вымахавшие за лето. Висели на турниках перезрелыми грушами, носились на велосипедах, запускали в небо штандер-мандеры. На асфальте белели квадраты классиков, ветвились стрелки казаков-разбойников: красная печать, никому не убегать. Будто лето, получив разгон, всё крутило и крутило педалями, не замечая, как промелькнули флажки, как поредели толпы болельщиков и судейские свистки сменились трелями первого школьного звонка.

Я перешла тогда в седьмой класс обычной советской школы и за лето, проведенное между городом и пионерлагерем с оптимистичным названием «Веселый спутник», успела соскучиться по друзьям. Особенно по Ленке, с которой мы дружили с первого класса. Пару дней назад она вернулась из деревни, где гостила у бабушки целое лето. Беззаботное детство! Так непохожее на мое, отягощенное двумя младшими братьями, за которыми нужно присматривать, пока родители на работе.

В первый же учебный день после уроков, затолкав портфель под парту и сбросив с себя школьное платье с белым фартуком, из которого еще не выветрился запах фабричной синтетики, я помчалась к Ленке. Жила она через дорогу в старой хрущевке — со всеми вытекающими последствиями в виде прокуренных подъездов и безликих квартир. Но в детстве ее пятиэтажка казалась мне дворцом небожителей: моя семья жила в гораздо худших условиях — в деревянном доме на две семьи — доме, изъеденном плесенью, мышами и чешуйницами. Без водопровода и канализации. Туалет — на улице: в полу строительной теплушки — дыра, к которой дедушка припаял ржавое ведро. Казалось, поосновательнее присядешь — рассыплется в рыжую труху. «Зато огород рядом», — утешала себя мама. Я ее оптимизма не разделяла: окучивать картошку и драть клубничные усы не самое веселое занятие для четырнадцатилетнего подростка.

Но больше всего в Ленкином доме манил двор — шумный, многолюдный, соборный. С двухъярусными турниками и полусферами металлических лестниц. С песочницей, облепленной разноцветными куличиками и бойкой детворой. С ребристыми лавочками, на которых, как куры на насесте, хохлились вздорные старухи. В пространстве между соседними многоэтажками заполошными птицами метались звуки: звонкие детские голоса, оружейными выстрелами — хлопки выбивалок по коврам, стук доминошных костяшек, перемежаемый криками «козёл» или «рыба». Здесь пропадали всерьез и надолго — пока из распахнутых окон на четвертом этаже не зазвучит протяжное: «Ленаааа, домоооой!»

В этом дворе и случилась встреча. Можно ее назвать судьбоносной, если судьба — это череда не только наших выборов, но и отказов от них, произвольных или вынужденных. Судьба въехала на двухколесном велосипеде «Минск», сверкая начищенными катафотами и хромированной рогатиной руля. Звали судьбу Стасик: смешливый прищур карих глаз, россыпь черных волос, клетчатая рубаха нараспашку. Тоже небожитель — из второго подъезда.

Мы с Ленкой сидели на скамейке, клевали семечки, сплевывая шелуху в кулак, и обменивались летними историями. Под неодобрительные взгляды двух старух, потесненных молодостью, — они сидели на скамейке напротив и о чем-то шептались. В этот момент к нам и подкатил Стасик.

— Ну что, девчоночки, скучаем? — так улыбаются артисты — широко, щедро, самовлюбленно.

— Неее, — нагловато осклабилась Ленка. — Баклуши бьем.

Одна из старух презрительно фыркнула, заметив оголенные Ленкины колени: Ленка, покажи коленко. Стасик с интересом смотрел на меня. Ленка еще что-то щебетала, но я не слышала — я таяла. От по-летнему знойного солнца, от бьющего по глазам хрома, от игривых обертонов незнакомого мне голоса и от этого взгляда, гипнотического, властного.

Стасик был старше меня на год — он учился в восьмом классе соседней школы, и одно только это — старшинство и чужеродность — могло стать спусковым крючком для рождения чувства. К тому же, зерно первой любви упало на хорошо удобренную почву. Казалось, вся советская индустрия подростковой литературы и кино обслуживала одну мою несчастную влюбленность. «Дикая собака Динго», «Шла собака по роялю», «В моей смерти прошу винить Клаву К.» — всё это было перечитано, пересмотрено и ожидало претворения в жизнь.

Осень выдалась теплой, щедрой на игры — всем двором, всем детским скопом. Футбол, прятки, войнушка с запуском взрывпакетов. Деталей уже не помню — выветрились за ненадобностью. Запомнилось только, как однажды во время такой игры Стасик взял мою руку и, глядя прямо в глаза, спросил:

— Почему ты не носишь колечки? Это ведь красиво.

Я посмотрела на свои пальцы, привыкшие к карандашу, к ручке, к клавиатуре фортепиано. Колец они не знали. Мама кольца не носила — только обручальное. Ее руки стирали, готовили еду, вязали, шили, топили печь, обнимали детей, перебирали сигареты на табачной фабрике, где она работала помощником машиниста. Бабушкины пальцы, морщинистые, искривленные артритом, по праздникам обряжались в тяжеловесные перстни с рубинами, но в будние дни драгоценности, перемотанные байковой тряпицей, прятались в шкафу среди бельевых слоев — золотыми горошинами под королевскими тюфяками и перинами.

Вот и ключик к сердцу найден! Я присматривалась к колечкам одноклассниц, пытаясь понять, какие носят. А носили разное: кокетливые поцелуйчики и строгие косички, с ажурными бабочками и пухлыми сердечками, с камушками и без. Змейки, оплетающие пальцы изящной спиралью. Недельки — тасуй по настроению: раз колечко, два колечко.

Ничего похожего в нашем промтоварном не было. Или дорого, или крупногабаритно, или размер не тот. Наконец нашлось подходящее — позолоченное с голубым камушком под бирюзу — всего-то сорок копеек! Я подолгу крутилась у витрины — мысленно примерялась. Мама, услышав про кольцо, только бровь вскинула: мол, пустая трата денег, но отсчитала копейки, ничего не сказав. Продавщица с волосяной улиткой на голове дежурным голосом уточнила:

— Завернуть или так?

Конечно, так! Я сразу же нанизала колечко на безымянный палец левой руки — село как влитое. Долго не могла привыкнуть — украдкой любовалась им, как любуется ювелир безупречностью огранки бриллианта.

— Что у тебя с четвертым пальцем? Опять тормозишь на нем! — сердилась Людмила Федоровна, учительница по фортепиано.

А у меня на четвертом пальце — любовь.

Как-то уже в ноябре я застала Стасика на школьном дворе, когда он мелом рисовал клешнистого скорпиона на гаражных воротах.

— Привет, — левой рукой смахиваю прядь со лба. — Что ты здесь делаешь? — безымянный палец у щеки.

— А ты не видишь? — мельком взглянув на меня, Стасик рисует скорпиону жало.

— Красиво, — любуюсь рисунком (левым указательным касаюсь кончика носа, безымянный повисает картинно).

Пока Стасик штрихует надпись «Scorpions», я переминаюсь с ноги на ногу, не зная, куда бы приткнуть палец с колечком.

— Только тсс, никому ни слова! — Стасик подмигнул, оседлал велосипед и скрылся в парке за деревьями.

Колечко он не заметил. Надо бы крикнуть вдогонку: «I will be there. Love, only love». Но нет, heavy metal был не из моего репертуара — Стасик вращался по другим музыкальным орбитам. Мой же проигрыватель «Электроника», спотыкаясь на заезженных дорожках, крутил Аллу Пугачеву — «Не отрекаются любя» и «Миллион алых роз» — до тех пор, пока сосед не стучал по батарее: хватит, мол, уже, включай тишину.

На зимних каникулах показали «Покровские ворота». При виде Олега Меньшикова в роли Костика Ромина я застыла на месте. Вот! Вот герой моего романа — один в один. Знал ли Стасик об этом сходстве, подыгрывал ли актеру или двойничество было непреднамеренным, не могу сказать. Но в повороте головы, эксцентричности жеста, полетности речи — во всём чувствовался покровский enfant terrible. Я купила в киоске набор открыток с фотографией Меньшикова и носила ее в дневнике — чтобы никогда не расставаться. Но как ухватить голос? Голос, от которого перехватывает дыхание и в межреберье полыхает пожарище?

Решение нашлось там, где не ждали, — в радиопостановке «Малыш и Карлсон». Актер, игравший Боссе, звучал со Стасиком в унисон. «Не надо, не плачь, не плачь, Малыш!»; «Как ты нас напугал!»; «Витамины, конечно, должны быть в шоколаде и в жевательной резинке». Я по сотому кругу прокручивала пластинку в этих местах и недоумевала: зачем так мало реплик у Боссе? Можно ведь было постараться!..

— Ирка, ну сколько можно?! — негодовал мой семилетний брат Виталик, буравя указательным пальцем висок.

— Отстань! Лучше поиграй с луноходом! — огрызалась я и выходила на сто первый круг.

— Дура! — Виталик пожимал плечами и зарывался в своих машинках.

Но записывать себя в безумицы я не спешила. Позже однокурсница рассказала, как примерно в том же возрасте влюбилась в Майкла Прейда — актера из сериала «Робин из Шервуда»: она звуковую дорожку фильма записала на бобинный магнитофон, проигрывала перед сном — и страдала, страдала. В этом влечении к голосу было что-то надрывно-цветаевское, осмысленное уже в студенческие годы:

Если б Орфей не сошел в Аид

Сам, а послал бы голос

Свой, только голос послал во тьму,

Сам у порога лишним

Встав, — Эвридика бы по нему

Как по канату вышла.

Но не послал, не стал у порога — всю зиму где-то носился по своей орбите, не пересекаясь с моей.

Каких только глупостей я не совершала в тот год! Наперекор всем методичкам классического пикапа. Звонила и молчала, пока телефонная будка не оглашалась нетерпеливыми окриками страждущих. Иногда дышала в трубку, если была уверена, что на другом конце провода именно он. Почтой посылала письма счастья и открытки на Новый год — от Деда Мороза и Снегурочки. Домой из школы возвращалась через Ленкин двор, как бы ненароком прогуливаясь возле второго подъезда — только ради того, чтобы услышать долгожданное: «Привет!» Счастье, если за репликой следовал взмах руки — можно неделю жить воспоминаниями о несказанной встрече. Я отчаянно махала в ответ: надеялась, вот он увидит колечко, поймет, как сильно я его люблю, и падёт смертью влюбленных. В то время я ничего не знала ни о любовной зависимости, ни об аддиктивном поведении, ни о роковой комбинации допамина, окситоцина и эндорфина. Да если бы и знала, вряд ли перестроила бы свой маршрут.

Не так давно на дне коробки, случайно пережившей несколько переездов, нашла свой дневник той поры. На унылом коленкоровом фоне — нефтеперерабатывающий завод, присевший на размашистую надпись «XI пятилетка». Над дымящимися трубами и красными флагами — потрескавшейся фреской — немецкая переводка с незнакомой брюнеткой в ярко-розовой блузке. Той, четырнадцатилетней девочке с колечком, видимо, хотелось не базиса, а надстройки. Как Таньке Канарейкиной из фильма «Шла собака по роялю»: сесть на облако и поплыть — далеко-далеко, за горизонт ветхого дома, огородных кущ и семейных ожиданий.

В дневнике — запись: «Когда шли из школы, нам повстречался С. И поздоровался, как мне показалось, только с Ленкой. Ну что же, я и не обижаюсь. Пусть, пусть, если я ему совсем безразлична! Хотя мог бы по знакомству поздороваться. Всё ж таки я тоже человек, а не зверь, и тоже люблю внимание. Значит, он меня даже не уважает.» Еще бы! После такого массированного обстрела из купидоновых гранатометов, Стасик, наверное, объезжал одержимую поклонницу за версту. Меня извиняла только девичья искренность и неопытность в амурных делах.

В конце апреля Ленка заявилась в школу с перевязанной кистью.

— Порезалась? — спрашиваю сочувственно.

— Лучше! — глаза блестят.

Ленка размотала повязку. На тыльной стороне кисти пунцовела угловатая «М».

— Иголкой выбила. В честь Макса, — Ленку распирало от гордости.

Я знала Макса из третьего подъезда — с ним Ленка уже дважды целовалась на лестничной площадке. А еще с Серым из первого, но это несерьезно. По крайней мере, так утверждала Ленка.

— А тебе слаб*о*?

Мне — не слаб*о*. Я купила в промтоварном синюю тушь — всё ж по-серьезному! — обмакнула в нее иглу и выцарапала на запястье заветный вензель. Получилось не очень ровно, зато навеки вместе. Духом и телом.

Ночью, пока я спала, мама увидела перетянутую бинтом руку. Разбудив меня, потребовала снять повязку. Сколько я ни увиливала, мама была непреклонна. То, что позже назовут боди-артом, обернулось скандалом.

— Кто такой «С»? Зачем ты это сделала?

Я молчала. Как объяснить то, что не поддается разумному объяснению? Коллективное бессознательное затаилось нашкодившим зверьком.

— С этой наколкой ты… ты… как воровка в законе! Такая же меченая! — в гневе мама не выбирала слова. — Что скажут в школе?! Была отличницей — стала зэчкой?

Меченой мне быть не хотелось — хотелось быть любимой. Слово «зэчка» показалось незнакомым, но уточнять я не стала — явно что-то за гранью.

— Чтобы завтра я этого не видела!

Как от «этого» избавиться, она не уточнила. Остаток ночи я проревела, уткнувшись в подушку. А под утро достала из шкафа утюг, включила в розетку и приложила его треугольным носом к запястью — туда, где синел буквенный полумесяц. Всего на секунду. Запах паленых волосков. И боль, такая острая боль! Смотрела, как краснеет, скукоживаясь шагренью, кожа. Завыла от боли и обиды — слёз уже не было. Сорвала с пальца колечко, выскочила во двор и, размахнувшись посильнее, швырнула его за калитку — с глаз долой, из сердца вон. Постояла на утреннем холоде, прислушиваясь к пронзительным голосам синиц, к тарахтенью сонных машин. Спохватилась, выбежала за калитку, искала колечко в траве, но так и не нашла. Опустошенная, присела на бетонные ступеньки, обхватила руками колени и зарыдала — горько, надсадно.

Из-за двери выглянула мама. Увидела свежий шрам, слёзы, размазанные по щекам, и все поняла.

— Чем? Чем выводила?

— У-у-утюгом.

— Можно ж было прикрыть. Часиками. Сумасшедшая!

Мама обхватила мою голову и прижала к груди:

— Дурочка ты моя, дурочка! Прости… Что ж мы себя так не любим?! Умные, красивые, талантливые. Будет и на нашей улице счастье. Еще не раз. Еще двести раз. Двести тысяч раз!

Долго сидели, обнявшись, раскачиваясь из стороны в сторону, — оплакивали свои дурацкие любови. А за калиткой просыпался город, кряхтели троллейбусы, пронося чужие жизни мимо, по неведомым маршрутам. Под белоснежным конфетти из вишневых лепестков невестилась земля.

Мама была права, спору нет. Были в моей жизни другие колечки. Пластмассовые — за ними мы катались в Друскенинкай на излете Советского Союза. Серебряные, купленные на первую учительскую зарплату. Золотые, подаренные мужем. Были и романтические признания: и шепот, и робкое дыхание, и трели соловья — всё было. Но эта первая — глупая, безумная — влюбленность выброшенным колечком жжется на безымянном пальце, треугольным шрамом бугрится на левом запястье.